

Приглашение на казнь

Роман

I

Сообразно с законом, Цинциннату Ц. объявили смертный приговор шепотом. Все встали, обмениваясь улыбками. Седой судья, припав к его уху, подышав, сообщив, медленно отодвинулся, как будто отлипал. Засим Цинцинната отвезли обратно в крепость. Дорога обвивалась вокруг ее скалистого подножья и уходила под ворота: змея в расщелину*. Был спокоен: однако его поддерживали во время путешествия по длинным коридорам, ибо он неверно ставил ноги, вроде ребенка, только что научившегося ступать, или точно куда проваливался, как человек, во сне увидевший, что идет по воде, но вдруг усомнившийся: да можно ли? Тюремщик Родион долго отпирал дверь

* Первая из ряда отсылок к пушкинской «Полтаве» (1829): «Дорога, как змеиный хвост, / Полна народу, шевелится. / Средь поля роковой намоет. / На нем гуляет, веселится / Палач и алчно жертвы ждет <...>»

Цинциннатовой камеры, — не тот ключ, — всегдашняя возня. Дверь наконец уступила. Там, на койке, уже ждал адвокат, — сидел, погруженный по плечи в раздумье, без фрака (забытого на венском стуле в зале суда, — был жаркий, насквозь синий день), и нетерпеливо вскочил, когда ввели узника. Но Цинциннату было не до разговоров. Пускай одиночество в камере с глазком подобно ладье, дающей течь. Все равно, — он заявил, что хочет остаться один, и, поклонившись, все вышли.

Итак — подбираемся к концу. Правая, еще непочатая часть развернутого романа, которую мы, посреди лакомого чтенья, легонько ощупывали, машинально проверяя, много ли еще (и все радовала пальцы спокойная, верная толщина), вдруг, ни с того ни с сего, оказалась совсем тощей: несколько минут скорого, уже под гору чтенья — и... ужасно! Куча черешен, красно и клейко черневшая перед нами, обратилась внезапно в отдельные ягоды: вон та, со шрамом, подгнила, а эта сморщилась, ссохшись вокруг кости (самая же последняя непременно — тверденькая, недоспелая). Ужасно! Цинциннат снял шелковую безрукавку, надел халат и, притоптывая, чтобы унять дрожь, пустился ходить по камере. На столе белел чистый лист бумаги, и, выделяясь на этой белизне, лежал изумительно очиненный карандаш, длинный как жизнь любого человека, кроме Цин-

цинната, и с эбеновым блеском на каждой из шести граней. Просвещенный потомок указательно-го перста. Цинциннат написал: «И все-таки я сравнительно. Ведь этот финал я предчувствовал этот финал». Родион, стоя за дверью, с суровым скиперским вниманием глядел в глазок. Цинциннат ощущал холодок у себя в затылке. Он вычеркнул написанное и начал тихо тушевать, причем получился зачаточный орнамент, который постепенно разросся и свернулся в бараний рог. Ужасно! Родион смотрел в голубой глазок на поднимающийся и падавший горизонт. Кому становилось тошно? Цинциннату. Вышибло пот, все потемнело, он чувствовал коренек каждого волоска. Пробыли часы — четыре или пять раз, и казематный отгул их, перегул и загулок вели себя подобающим образом. Работая лапами, спустился на нитке паук с потолка — официальный друг заключенных. Но никто в стену не стучал, так как Цинциннат был пока что единственным арестантом (на такую громадную крепость!).

Спустя некоторое время тюремщик Родион вошел и ему предложил тур вальса. Цинциннат согласился. Они закужились. Бренчали у Родиона ключи на кожаном поясе, от него пахло мужиком, табаком, чесноком, и он напевал, пыхтя в рыжую бороду, и скрипели ржавые суставы (не те годы, увы, опух, одышка). Их вынесло в коридор. Цинциннат был гораздо меньше своего кавалера.

Цинциннат был легок как лист. Ветер вальса пушил светлые концы его длинных, но жидких усов, а большие, прозрачные глаза косили, как у всех пугливых танцоров. Да, он был очень мал для взрослого мужчины. Марфинька говаривала, что его башмаки ей жмут. У сгиба коридора стоял другой стражник, без имени, под ружьем, в песьей маске с марлевой пастью. Описав около него круг, они плавно вернулись в камеру, и тут Цинциннат пожалел, что так кратко было дружеское пожатие обморока.

Опять с банальной унылостью пробили часы. Время шло в арифметической прогрессии: восемь. Уродливое окошко оказалось доступным закату; сбоку по стене пролег пламенистый параллелограмм. Камера наполнилась доверху маслом сумерек, содержавших необыкновенные пигменты. Так, спрашивается: что это справа от двери — картина ли кисти крутого колориста или другое окно, расписное, каких уже не бывает? (На самом деле это висел пергаментный лист с подробными, в две колонны, «правилами для заключенных»; загнутый угол, красные заглавные буквы, заставки, древний герб города — а именно: доменная печь с крыльями — и давали нужный материал вечернему отблеску.) Мебель в камере была представлена столом, стулом, койкой. Уже давно принесенный обед (харчи смертникам полагались директорские) стыл на цинковом подносе. Стемнело

совсем. Вдруг разлился золотой, крепко настоящий электрический свет.

Цинциннат спустил ноги с койки. В голове, от затылка к виску, по диагонали, покатился кегельный шар, замер и поехал обратно. Между тем дверь отворилась и вошел директор тюрьмы.

Он был, как всегда, в сюртуке, держался отменно прямо, выпятив грудь, одну руку засунув за борт, а другую заложив за спину. Идеальный парик, черный как смоль, с восковым пробором, гладко облегал череп. Его без любви выбранное лицо, с жирными желтыми щеками и несколько устарелой системой морщин, было условно оживлено двумя, и только двумя, выкаченными глазами. Ровно передвигая ноги в столбчатых панталонах, он прошагал между стеной и столом, почти дошел до койки, — но, несмотря на свою сановитую плотность, преспокойно исчез, растворившись в воздухе. Через минуту, однако, дверь отворилась снова, со знакомым на этот раз скрежетанием, — и, как всегда в сюртуке, выпятив грудь, вошел он же.

— Узнав из достоверного источника, что нонче решилась ваша судьба, — начал он сдобным басом, — я почел своим долгом, сударь мой —

Цинциннат сказал:

— Любезность. Вы. Очень. (Это еще нужно представить.)

— Вы очень любезны, — сказал, прочистив горло, какой-то добавочный Цинциннат.

— Помилуйте, — воскликнул директор, не замечая бестактности слова. — Помилуйте! Долг. Я всегда. А вот почему, смею спросить, вы не пригласились к пище?

Директор снял крышку и поднес к своему чуткому носу миску с застывшим рагу. Двумя пальцами взял картофелину и стал мощно жевать, уже выбирая бровью что-то на другом блюде.

— Не знаю, какие еще вам нужны кушанья, — проговорил он недовольно и, треща манжетами, сел за стол, чтобы удобнее было есть пудинг-кабинет.

Цинциннат сказал:

— Я хотел бы все-таки знать, долго ли теперь.

— Превосходный сабайон!* Вы хотели бы все-таки знать, долго ли теперь. К сожалению, я сам не знаю. Меня извещают всегда в последний момент, я много раз жаловался, могу вам показать всю эту переписку, если вас интересует.

— Так что, может быть в ближайшее утро? — спросил Цинциннат.

— Если вас интересует, — сказал директор. — Да, просто очень вкусно и сытно, вот что я вам доложу. А теперь, pour la digestion**, позвольте предложить вам папиросу. Не бойтесь, это в крайнем случае только предпоследняя, — добавил он находчиво.

* Традиционный итальянский десерт — яичный крем с добавлением белого вина.

** Для пищеварения (*фр.*).

— Я спрашиваю, — сказал Цинциннат, — я спрашиваю не из любопытства. Правда, трусы всегда любопытны. Но уверяю вас... Пускай не справляюсь с ознобом и так далее, — это ничего. Всадник не отвечает за дрожь коня. Я хочу знать когда — вот почему: смертный приговор возмещается точным знанием смертного часа. Роскошь большая, но заслуженная. Меня же оставляют в том неведении, которое могут выносить только живущие на воле. И еще: в голове у меня множество начатых и в разное время прерванных работ... Заниматься ими я просто не стану, если срок до казни все равно недостаточен для их стройного завершения. Вот почему —

— Ах, пожалуйста, не надо бормотать, — нервно сказал директор. — Это, во-первых, против правил, а во-вторых — говорю вам русским языком и повторяю: не знаю. Все, что могу вам сообщить, это что со дня на день ожидается приезд вашего суженого, — а он, когда приедет, да отдохнет, да свыкнется с обстановкой, еще должен будет испытать инструмент, если, однако, не привезет своего, что весьма и весьма вероятно. Табачок-то не крепковат?

— Нет, — ответил Цинциннат, рассеянно посмотрев на свою папиросу. — Но только мне кажется, что по закону — ну не вы, так управляющий городом обязан —

— Потолковали, и будет, — сказал директор, — я, собственно, здесь не для выслушивания жалоб,

а для того... — Он, мигая, полез в один карман, в другой; наконец из-за пазухи вытащил линованный листок, явно вырванный из школьной тетради.

— Пепельницы тут нет, — заметил он, поводя папиросой, — что ж, давайте утопим в остатке этого соуса... Так-с. Свет, пожалуй, чуточку режет. Может быть, если... Ну да уж ничего, сойдет.

Он развернул листок и, не надевая роговых очков, а только держа их перед глазами, отчетливо начал читать:

«Узник! В этот торжественный час, когда все взоры — Я думаю, нам лучше встать, — озабоченно прервал он самого себя и поднялся со стула.

Цинциннат встал тоже.

«Узник! В этот торжественный час, когда все взоры направлены на тебя, и судьбы твои ликуют, и ты готовишься к тем произвольным телодвижениям, которые непосредственно следуют за отсечением головы, я обращаюсь к тебе с напутственным словом. Мне выпало на долю, — и этого я не забуду никогда, — обставить твоё житьё в темнице всеми теми многочисленными удобствами, которые дозволяет закон. Посему я счастлив буду уделить всевозможное внимание всякому изъявлению твоей благодарности, но желательно в письменной форме и на одной стороне листа».

— Вот, — сказал директор, складывая очки. — Это все. Я вас больше не удерживаю. Известите, если что понадобится.